

Социологическая публицистика

© 1993 г.

М. БОРИСОВ

ЗА СПИНОЙ ХАМА

Хама проклинали всегда и везде, начиная со времен Ноя. Он уходил и незамедлительно появлялся вновь. Без него история почему-то не может обойтись. Он менял свое обличье, язык, походку, повадки, но человеческое восприятие фигуры хама оставалось в конечном счете одинаковым. Перед ним человек неизменно ощущает свою изначальную незащищенность, уязвимость, хрупкость, испытывает такое же чувство, как будто раздели догола. Стыд, растерянность, возмущение — эмоции буквально всех оттенков прорываются наружу. Хорошо, если умеешь держать дистанцию и не колеблясь повторяешь новое проклятье. Ну а если нет? Тогда хам воцаряется.

Для России явление хама не новость. Массовидность хамства сегодня настолько приелась, настолько хам примелькался, что нередко возникает своеобразная слепота, глаз запялен: вроде бы хам, а вроде бы и не он. Поучительный разговор на эту тему как-то не складывается, превращается, как правило, в банальное морализаторство, и потому приличные люди предпочитают не заниматься этим делом. Впрочем, до тех пор, пока сами не сталкиваются с мерзостью нос к носу, вздрагивая, как от липкого прикосновения, и отскакивая подальше назад.

Встреча с хамом — житейская, казалось бы, обыденная ситуация. Не надо нервничать, суетиться: ведь не ограбили, не убили. Но расслабиться нечто мешает. И это нечто по сути за пределами наших повседневных заботам, переживаниям. Бунтует моральное чувство, оно негодует, оскорбленно тем, что хам открыто не признает и не желает признавать никаких границ, прежде всего границ стыда, совести, норм человеческого общения, культуры. Для него границ не существует, не существует святого, неприкосновенного, непреступаемого, запретного, он не испытывает благоговения, не говоря уже об элементарных вещах: ему незнакомо уважение к долгу, чужое достоинство, независимость личности, ее приватность. Все можно и все дозволено, можно облапить, обслонявить, смять, отшвырнуть, наконец, раздавить, унижить. Именно моральное чувство проясняет взор, подбирает слова, интонацию, придает силу сопротивлению.

«Стыда нет», «бесстыдный», «постыдный», «без стыда и совести» — такими словами пользуется обыденное сознание, определяя хама; они значимы для христиан и мусульман, для каждого, кто обладает моральным чувством. И хотя определение получается отнюдь не из числа научных, точных, мораль в данном случае достаточно строга, чтобы выделить главную черту хамского поступка. Причем, эта черта внесоциальна по природе. Необязательно быть босяком, чтобы в стельку пьяным развалиться с ногами на сиденья в метро. Немотивированная агрессивность на городских улицах доставляет удовольствие не только безмозглой шпане. Преступник прежде всего должен побывать в шкуре хама, потом только, после содеянного, он квалифицируется по определенной статье. Хам — чиновник, «раскручивающий» клиента на взятку, уважаемый начальник, принуждающий переспать с ним подчиненную.

Моральное чувство реагирует быстро, наподобие короткого замыкания, оно несклонно загромождать свой путь рациональными изысками, тем более задавать вопросы. Оно живет настоящим, мгновением, но в то же время связано с непреходящими образами, духовным миром, хотя, быть может, связь эта и незрима. Хам носит на себе печать Антихриста, бесовские силы владеют им. Противостояние божественного, доброго и бесовского, дикого, звериного видится там, где появляется хам. Наверное, ветхозаветных образов достаточно, чтобы жило моральное чувство индивида. А если общество, масса индивидов, миллионы вступают в полосу падения нравов, празднуют хама, то не бессилен ли Ветхий Завет сам по себе? Возможно ли спасение по типу костров инквизиции, нужны ли пророки, или божественное провидение в конечном счете восторгается? Моральное чувство многого не объясняет в истории. Попытки решить социальные проблемы с опорой только на него сплошь и рядом приводили к катастрофам, кровавым, бессмысленным преступлениям против человека, отдельного народа, человечества. Казалось бы, опыт есть, но самая

большая катастрофа всегда впереди. За спиной хама, очевидно, воюет не только мораль. Победа или поражение здесь зависят от прочности культуры в широком смысле слова.

В истории защищенность культуры, ее гарантии принято оценивать по шкале «варварство — цивилизация», которую можно представлять как выражение линейности истории, исторической направленности, можно — как выражение цикличности, многомерности. Но масштаб этого измерения не соответствует описанию поступков, образа жизни индивида. Крайние позиции незаметно меняются местами, да так ловко, что не отстает ничего, кроме триумфа «цивилизованное варварство». Вот и сегодня мы стараемся призвать на помощь против хама цивилизацию, но только обрекаем самих себя на царство хама, на слом всего, что могло бы поддержать уровень культуры — образования, искусства, науки, духовного производства в целом. Могут возразить, мол, складывание рыночных структур, отработанных мировой цивилизацией, у нас в России дело непростое, речь идет о замене принципов, норм жизни, форм общения, институциональных структур, ценностей, не исключена примитивизация жизни, в том числе духовной, но был бы костяк — остальное нарастет. Может быть, все может быть... Неплохо, конечно, если наш «человеческий материал», привыкший к тому, чтобы его лепили палкой, дулом пистолета, в один прекрасный момент стал бы вылепливаться самостоятельно, свободно. Только что из этого выйдет?

Дело вовсе не в том, что политики по-прежнему месят глину и часто грязными руками, отсекают огромные куски от целого, время от времени швыряют лишнее в угол. Что говорить, замах крутой, революционная традиция. Более всего при этом тревожит антиинтеллектуальная тенденция, которая просматривается в различных ракурсах, в различных сферах жизни общества. Интеллигенция не просто отодвинута на задний план, забыта, отброшена прочь планами и программами отечественных реформ. Интеллигент у нас приучен ко всякому: он и безработицу выдержит, и низкую зарплату, и хамоватое руководство. Но есть предел и для него. Забастовки врачей, учителей, утечка мозгов за границу — это только симптомы надвигающейся ситуации, в которой нормой станет не только пренебрежение к интеллектуальному труду, духовному творчеству, но и ненависть, враждебность к каждому, кто пожелает взяться за это дело всерьез. Хам отобьет всякую охоту не только к мысли, слово «культура» станет непроизносимым. И все же в России хамству всегда противостояла интеллигенция, т.е. люди, для которых интеллект, культура стали делом жизни. Это особая социальная группа, без которой вряд ли сохраняется светская форма духовности, общечеловеческой морали, совестливость. Неслучайно же у воинствующего хама одна заветная мечта: исчезни, интеллигент.

Эта мечта, вероятно, близка к реальности. Недаром, все чаще вспоминают полюбившуюся хаму ленинскую фразу о том, что интеллигенция — это не мозг нации, а говно. Начиная с 1990 г., на страницах интеллигентских журналов и газет («Новый мир», «Столица», «Независимая газета», и т.д.) прорвались покаянные публикации, в которых эта же фраза приобрела вид конфетки, профессионально оформленной. В 1992 г. лейтмотив слегка изменился: прозвучали долгожданные откровения типа «пора бы ей исчезнуть», «слава Богу, исчезает», «лично я выхожу из ее рядов». Интеллигенции припомнили и 1917-й, и 1985-й, и 1991-й, и «образованщину», и идейную всеядность, и политическую беспартийность и религиозное отщепенчество. Особенно постарались Н. Климонтович, Л. Радзиховский, С. Беляева-Конеген, И. Дисген — новейшие постинтеллигентные писаревского стиля. Да, наша интеллигенция плоха, может быть, даже очень, ей все время приходилось влезать не в свое дело — в политику. Такая у нас страна. Что же делать, если наша духовная история не пережила религиозной реформации, не успела. Вместо духа протестантизма пришлось довольствоваться интеллигентской совестью, протестом. И либерализм наш, интеллигентский, разрывался между крайностями консерватизма и революционной радикальности, были утопии, «идеологические фантазмы», были и страшные компромиссы. Но все же во всех перипетиях российской реальности интеллигент, сознавал он это или нет, противостоял хамству, угрожающему культуре, угнетающему своим первобытным нахрапом. Не делая этого, он попадал в объятия хама, «исчезал».

В этом противостоянии хам получал не только моральное определение, но и социально-культурное. Издавна за словом «хам» закрепилось социально-бытовое значение холопа, слуги, лакея. Лакейство — социальная среда, наиболее благоприятная для культивирования самых уродливых форм рабского сознания. Россия по этой части отличалась завидным богатством. Если между баринем и его лакеем и можно было удерживать социокультурную дистанцию, то только потому, что дворянство, аристократия были причастны к миру культуры, из их рядов формировалась культурная элита. Такая дистанция исчезала в первую очередь с понижением культуры дворянства, оставалась при этом зависимость раба и господина, личная зависимость; исчезала она и тогда, когда дворянство запутывалось в сетях государственной лакейщины, более изысканной, но по-своему унижавшей человеческое достоинство, перечеркивавшей малейший намек на человеческие права, честь, Немудрено, что во времена всеобщей лакейщины, цепной реакции насилия хам оказывался главным действующим лицом. И принцип Ивана Карамазова «все дозволено», родившийся «на вершине

умственной жизни», становился принципом лакея Смердякова, нигилиста, убийцы; смердяковщина, бунтующее лакейство, выступало как «последнее проявление хамства» [1]. В замкнутый круг Ивана — Смердякова попадала разnochинная интеллигенция, народническая, революционная. Достоевский не ошибся, история представила свидетельство типичности подобного спаривания, но уже в политической версии «Ленин — Сталин».

Двуголовый уродец Иван — Смердяков плодился с удивительным постоянством в такой ситуации, когда возмущение в зоне проклятого треугольника «власть — интеллигенция — народ» достигало наивысших пределов. Совесть интеллигента, желание послужить своему народу перерастали в болезненное чувство вины за тяжкое положение народа, в героическую жертвенность, в народное поклонство. Трудно, наверное подобрать более точный пример, причем довольно искренне зафиксированный, из реальной жизни, чем судьба, блуждания и всплески маргинала М. Бакунина — репрессированного барина, эмигранта, революционера, анархиста, фанатичная вера которого в народ, общину, народную революцию обострялась временами до безумства. Примечательно, что это обострение совпадало с периодом нестерпимого одиночества, оторванности от Родины, безденежья, когда и Нечаев при всей его склонности к клевете, «иезуитизму», «шантажированию», «запугиванию» годился в партнеры.

Именно тогда любимая всеми революционерами фраза «народ еще не проснулся» получала в устах Бакунина вполне достойное завершение: «...Народные бродяги — лучшие и самые верные проводники народной революции, приуротовители обших народных волнений, этих предтеч всенародного восстания, а кому не известно, что бродяги при случае легко обращаются в воров и разбойников. Да кто же у нас не разбойник и не вор?.. Бродяжнически-воровской и разбойнический мир, глубоко вкорененный в нашу народную жизнь и составляющий одно из ее существенных проявлений, тронется и тронется могущественно, а не слабо» [2]. Так и хочется сказать из нашего преступного сегодня: «Тронулся, уже тронулся!» Иные же, сдерживая митинговый зуд, станут кивать в такт бакунинской риторике по поводу тогдашней чиновной элиты — гг. Муравьевых, Мезенцовых, Шуваловых, Треповых: «Образование этих аристократов-лакеев ничтожно, гораздо ниже образования среднего дворянского класса... Все время их проходит в прислуживании и в грязных интригах... Несмотря на всю их готовность проглотить всякого и погубить целый народ в угоду государю, а главное, в угоду своим собственным интересам, все-таки в них нет никакой собственной силы, нет именно силы сословия. Они хамы, а хамство никогда и нигде еще не умело сплотиться» [Там же, с. 184, 185]. И восторг, и ненависть Бакунина, мучимого кошмарными видениями, можно понять, даже поразиться пророческому дару, но разделить их с ним? Принять его одержимость, готовность пойти на самую крайность? Многие испытывают соблазн перевернуть весь мир вверх дном, подать руку бесу или очередным Хусейнам в поисках правды, справедливости, просвета. Но не прозвучат ли снова в конце слова Смердякова: «Вы вот сами тогда все говорили, что все позволено, а теперь-то почему так встревожены сами-то-с?»

Есть ли у русской интеллигенции другой выход, помимо приближения политического апокалипсиса? Было бы нелепой натяжкой сводить ее историю только к идейно-политическому заигрыванию со смердяковщиной. Подобные взгляды при всей критичности и разоблачительности все же страдают одномерностью восприятия роли интеллигента и недалеко отстоят от пресловутой тяги к устройению абсолютных идеалов на земле. За политическими страстями, так или иначе объяснимыми все той же родной почвой, у интеллигента скрывается поистине онтологическая непреходящая боль, вызванная страхом за судьбу отечественной культуры.

Немало говорилось и говорится о пропасти, разделяющей русского интеллигента и западного интеллектуала, при этом упоминаются идейные, политические, экономические несхожести их развития и существования. И это заслуживает, конечно, внимания. Но, пожалуй, именно переживание за судьбу культуры не только российской, но и мировой придает образу русского интеллигента значение классического типа человека, связанного со сферой духовного производства, умственного труда. Русская интеллигенция — детище реформатора Петра, вообще реформаторской истории в России. Отсутствие готовых социально-экономических предпосылок реформаторства, зыбкость культурной почвы для успеха в этом деле выступают, естественно, отягчающим обстоятельством самоопределения интеллигенции, причиной ее, скажем так, подвешенного состояния.

Неизменное, ничем неудовлетворяемое желание поправить это положение, обрести «почву» под ногами толкало интеллигенцию на всевозможные эксперименты: хождение в народ и искания национальной самобытности, обособленности, западнический космополитизм и имперский социализм. Вероятно, в этих по сути не политических, а культурнических экспериментах главные вопросы сводились к одной и той же теме — интеллигенция и народ.

Смутная догадка о неразрывной связи судьбы интеллигенции и народа и о реальном отчуждении между ними, прежде всего социокультурного характера, загоняла интеллигенцию не раз в тупик

народолюбия, обожествления народа. Ничего плохого в этом и не было бы, если бы не интеллигенты шли в народ, а народ к ним. Шедший в народ интеллигент оказывался лишним, не только вещь, которую не знают куда деть, но и досадной помехой. Если властям в конечном счете интеллигенция была нужна хотя бы в качестве чиновной «шестерки», элемента всеобщего лакейства в идеологической, культурной сфере, то народу — нет. Он ее избегал, а она упорно шла и шла, нередко коверкая литературный язык, профанируя то, что ей удалось вынести из храма культуры. Несмотря на эти далеко не безобидные приемы, интеллигенция обнаруживала в итоге, как правило, что народ стоит от нее далеко, он не с ней. Да и где этот народ? Печальная история. Народ всегда оставался для нее необъяснимым ускользающим идеальным объектом, которому тем не менее необходимо служить, посвятив всю деятельность, жизнь.

Было бы глупо, конечно, забывать при этом, что успевала сделать интеллигенция, занимаясь своим делом, для развития культуры в целом, окультуривания народных масс. Не о том речь, а об определенном отношении интеллигенции к народу, которое нельзя назвать иначе, как народопоклонство. Это отношение вовсе не метафора, усугубляющая безрадостную картину с изображением интеллигенции, у него есть реальные исторические прототипы. Один из них — сталинско-ждановская массовая культура 30—40-х годов, когда народ признал интеллигенцию подсудной для себя, взял ее с оговорками на содержание за услуги, облегчающие и красящие жизнь, за «понятность», «доходчивость», «полезность», умных предметов. Грани между ними, между подвыжничеством и иждивенчеством стерлись, исчезли прежде всего профессиональные грани [3]. Исчезла и дистанция, которая обязательна для охраны культуры от хамства.

Обсуждая стереотип народопоклонства, нельзя не отметить известную иронию, которой время наградило антимещанскую позицию русской интеллигенции. Уже вполне зрелый Герцен, до конца остававшийся в отличие от многих других революционеров аристократом духа пережил драму падения политических утопий и всерьез задумался над вопросом о перспективах культуры, духовности. Вслед за Ст. Миллем он ополчился на мещанство — бездуховность, психологию, образ жизни мелкого собственника, мелкого буржуа Запада: «Возле, за углом, везде дожидается стотысячеголовая гидра, готовая без разбора все слушать, все смотреть, всячески одеться, всем наестся, — это та самодержавная толпа сплоченной посредственности (conglomerated mediocracy) Ст. Милля, которая все покупает и потому всем владеет, — толпа без невежества, но и без образования, для нее искусство кричит, машет руками, лжет, экзальтирует или с отчаяния отворачивается от людей и рисует звериные драмы и портреты скота...» [4]. Горько сетуя на мещанство, «последнее слово цивилизации», основанной на самодержавии собственности, он обращает затуманенный взгляд на Россию и еще надеется, что она-то в силу самобытности, особой своей «рубашки с косым воротом» не пройдет «мещанской полосой».

Несколько позднее как бы в ответ на герценовский надежду-полувопрос привычным пророческим голосом воскликнет Мережковский: «Одного бойтесь — рабства и худшего из всех рабств — мещанства и худшего из всех мещанств — хамства, ибо воцарившийся раб и стал хам, а воцарившийся хам и есть черт — уже не старый, фантастический, а новый, реальный черт, действительно страшный, страшнее, чем его малюют, — грядущий Князь мира сего, Грядущий Хам» [5]. Для Мережковского Грядущий Хам — угроза российской духовности, идущая сверху и снизу. В последнем случае угроза хамства самая страшная — от «хулиганства, босячества, черной сотни». Нельзя отказать Мережковскому в правоте слов, но нельзя и не задать вопрос: а при чем здесь, собственно говоря, мещанство? Ведь оно-то — в полосе Запада, феномен обеспеченного самодовольства, ограниченности запросов мирного буржуа, добропорядочного в стенах дома, фермы, лавки. А тут — хулиганство?

Видимо, мы опять-таки столкнулись с пресловутой спецификой России. Антимещанство интеллигенции прекрасно уживалось с ее стремлением к земному раю для всех: как минимум — к массовой обеспеченности, как максимум — к «рогу изобилия». По здравому смыслу это и есть стремление к мещанству, если бы только не страсти вокруг духовности. Подобный курьез отчасти выразил С.Л. Франк в характеристике интеллигента — «воинствующий монах нигилистической религии земного рая». Монахи были, даже много, земного благополучия не вышло. Из хронической бедности, регулярного как часы разорения всего с трудом накопленного выбраться не удалось. Поневоле захулиганишь.

Может быть, с мещанством интеллигенция обманулась, как она обманулась с народом, с поиском его? Может быть, при существовании мещанства, подходящего хоть немного на западное, легче было бы с культурой? Трудно ответить, слишком много наслоений в российском опыте, чтобы извлечь сразу истину. Ясно одно, борясь с мещанством у себя на все лады, мы забываем о российском хамстве, терпим его, уживаемся, а приходит время — удивляемся, что ничего не видно из-за его спины.

Европе, кстати, не чужды были размышления о слабостях мещанства. Наряду с марксистским

категорическим неприятием мещанства по идейно-политическим, классовым соображениям, было там и другое отношение, рационально-критическое и вместе с тем в достаточной степени реалистическое. Например, Ортега-и-Гассет обрисовал эволюционировавшее мещанство — тип человека массы, для которого характерны определенные вкусы, интересы, стиль жизни, своеобразный этос. В своей работе «Восстание масс» (1930) он понимает этот тип не столько в политическом, сколько в культурно-психологическом смысле. Это — средний, заурядный человек, посредственность, не ощущающая «в себе никакого особого дара или отличия от всех, хорошего или дурного» [6]. Образующееся безличие не огорчает его, он доволен своим положением, он — «человек самодовольный». Вообще этот тип встречается во всех социальных группах и классах, во все времена. В феномене массы видится причина гибели Римской империи. В экспансии массы, в выходе ее за пределы допустимой меры таится страшная опасность для культуры, цивилизации, так как подрывается основа человеческой жизни — ее нормы, признание значимости высшей инстанции, авторитетов, духовности, морали.

В XX веке человек массы выходит из задних рядов на авансцену. Он есть не что иное, как продукт европейской цивилизации, основанной на принципах либерализма, демократии, на огромных технических и научных возможностях. Масса, массовидное, массификация как естественные атрибуты общественных условий появляются в результате индустриализации, обогащения жизненного стандарта, всеобщего нивелирования в обладании богатством, правами, плодами культуры, выравнивания классов, полов. Само по себе «омассовение» может и не предвещать катастрофических последствий, скорее, наоборот, оно выступает некоторой предпосылкой новой ступени развития. Но в Европе обнаруживаются и мрачные симптомы, «для нынешних дней характерно, что вульгарные, мещанские души, сознающие свою посредственность, смело заявляют свое право на вульгарность, и причем повсюду» [Там же, с. 122]. Триумф принципа заурядности, вульгарности ассоциируется с «вертикальным вторжением варварства» во все сферы жизни, с ее примитивизацией, понижением до уровня первобытности, варвара.

Где-то в гуще массы происходит некий сдвиг, зарождаются крайности самодовольства, выползающие на поверхность. Специализация, упрощающая общественные функции, делает общедоступными те из них, которые раньше были призванием избранного, творческого меньшинства, к примеру, в искусстве, науке, государственной организации. Жизнь хороша и беззаботна, освобождена от трудностей, бремени, ограничений, человек массы пользуется плодами цивилизации, как плодами с райского дерева. Беспрепятственный рост вожделиний порождает принципиальную неблагодарность к источникам процветания, «замкнутость души», ее глухоту. Давно минуло то время, когда закон и демократия составляли неразрывное единство, законность все больше уподобляется беседе в кафе, и масса, подминая под себя закон, навязывает свою волю всему обществу.

Гипердемократия и есть состояние, в котором неуравновешенность между правами и обязанностями массы, отрицание норм, законности, высших принципов достигают верхних отметок. Мятежная масса претендует на неограниченное ничем «право действовать безо всяких на то прав» [Там же, с. 144], желает захватить руководство обществом при явной неспособности руководить. Заурядность, «замкнутость души», развращающие вожделиния смыкаются в стремлении к «прямотому действию», которое выражается в литературе в распространении оскорблений и угроз, а в отношении между полами — в распущенности. Смертельная ненависть ко всему иному, к оппозиции, дискуссии захватывает всех, подлинники творцы, ученые оказываются в положении парий. В конечном счете «принцип прямого действия» приводит к тому, что сила становится первым и единственным доводом в жизни, отменяющим за ненужностью все остальные нормы, все промежуточные этапы между целью и ее достижением. Синдикализм, фашизм, большевизм как движения массы принимают эту «Великую Хартию варварства», и насилие проникает повсюду, образуя форму повседневно-

В этом кратком изложении работы Ортеги многое оказывается упущенным, огрубленным, но хочется надеяться, что его предупреждение человечеству об угрозе вырождения, духовной смерти все же не искажено. Он показал, что происходит, когда самодовольная, благополучная масса решается на мятеж. Так бывает в условиях кризиса, прежде всего духовного, означающего падение устоявшихся норм жизни, подавление воли к совместной жизни, умения и готовности считаться с другими, благожелательности. Его восставший человек массы напоминает о нашем российском хаме.

Есть еще одно положение у Ортеги, которое нельзя не выделить. Условием сохранения и развития цивилизации является существование человека избранного, которого делают таковым ответственность и высокие требования к самому себе. Его отличия от массы отнюдь не в происхождении, богатстве, а в самодисциплине, ответственности, добровольном, бескорыстном служении высшему, к примеру, научной истине, профессиональному долгу, человеческим ценностям общечеловеческого бытия. Массе должна противостоять элита; интеллектуальная, творческая, профессиональная,

иначе культура угасает. Ортега склонен называть самым грозным симптомом этого процесса угасания «несоответствие между благами, которые рядовой человек получает от науки, и невниманием, которым он ей отвечает...» {Там же, с. 150}. Цивилизация слишком сложное и вместе с тем хрупкое историческое образование, чтобы выдержать прорвавшиеся хотя бы в одном месте, в одной стране паразитизм и безответственность массы, ее невежество и аморализм.

Можно обнаружить много параллелей между ортеговским описанием массы и нашей социальной реальностью. Но есть у нас и то, что делает мятежные черты массы резче, а ее человека — фигурой пугающей, отталкивающей. Прежде всего имеются в виду растянувшиеся на целые эпохи нищета и беззаконие в качестве условий существования основной массы. Отсюда ее вождения отнюдь не чета безобидным, туповатым капризам мещанства, они изначально агрессивны, насильственны по отношению к окружающему миру, человеку, культуре. Россия всегда отличалась низкой правовой культурой, неразвитостью правосознания, исторически репрессивные государственные органы и устои традиционной патриархальной морали заменяли скрепы и ограничения закона. Закон не писан, не беда, обойдемся без него, подождем до лучших времен.

На этом пренебрежении законом держалась сталинщина, превратившая ГУЛАГ в школу жизни, а босняка и хулигана — в социально активный элемент. Сегодня беззаконие и люмпеновский задор прорвались на всех этажах общества. Моральные требования справедливой жизни и всеобщий разграб «ничейной» государственной собственности — кто хапнет больше, призывы к честному предпринимательству, ничем не на научном поприще, и поражающая воображение стихия коммерческих афер, а главное, паралич власти, возможный разве что в обстановке бесконечных похорон «плохих», вождей, лидеров и чествований очередного калифа на час, — все это дурные вестники, означающие приближение возврата к жестокой отечественной истории, к новой редакции «Великой Хартии варварства».

В то же время отношение черни к элите, интеллектуальной, духовной не изменилось. Черносотенство, избиение интеллигенции сопутствовали взлетам так называемой народной науки, к примеру, в образе Лысенко. А разве было иначе, когда голос Сахарова или Солженицына встречал мычащую и топающую толпу? Конечно, смуть интеллигенцию можно и инфляционной денежной волной. Вульгарщина подстерегает под новыми масками. В одном из академических институтов многоуважаемый директор С., решивший избавиться в ходе кампании сокращения штатов от некоего К., известного отнюдь не на научном поприще, а удачей в порнобизнесе, вывесил поспешно соответствующий приказ, а на следующий день вынужден был его отменить. В промежутке он услышал приблизительно следующее: «Я посоветался с личным адвокатом, приказ, оказывается, простая бумажка. Уберите его, в противном случае по судам затаскаю — у меня-то капитал превышает пять годовых институтских бюджетов». Да, плохи дела с правовой культурой у интеллигенции.

Нетрудно заметить, что понимание элитности, аристократизма в нашей стране определенным образом перекошено, «Элита» сегодня употребляется в выражении группы, владеющей «бешеными деньгами». Говорят об управленческой, армейской элите, но, скорее, мечтательно. А вот интеллигентствующей валютной проститутке никто не откажет в принадлежности к элите. Занявшись своим ремеслом после жизни в провинции, по причине безденежья, она теперь заявляет, что никакие инстанции, даже самые высшие, не заставят ее бросить служить искусству. Ее заявление имеет вес, а рассуждения об интеллектуальной элите вызывают смех.

Не хотелось бы ставить точку в миноре. В России существовала иная традиция образования элит — аристократизм духа, восходящий к Пушкину. Именно он говорил: «Молчи, бессмысленный народ, Поденщик, раб нужды, забот!.. Подите прочь — какое дело Поэту мирному до вас!» Традиции интеллектуальной совести поддерживались в самые мрачные времена. Будет существовать интеллектуальная элита — будут образовываться и другие элиты, о которых остается мечтать. Отученная от народопоклонства, политиканства, интеллигенция будет служить своему делу, вырабатывать свой язык, свой образ жизни. Лишь она помнит, что Хам не грядет, он уже с нами, за столом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бердяев Н.А. Духи русской революции // Вехи. Из глубины. М., 1991. С. 274,275.
2. Бакунин М.Л. Философия. Социология. Политика. М., 1989. С. 542—543.
3. Интеллигенция и народ. Круглый стол // Филос. науки. 1990. № 7. С. 53.
4. Герцен А.И. Концы и начала // Герцен А.И. Собр. соч., М., 1959. Т. 16. С. 140—141.
5. Мережковский Д.С. Грядущий Хам // Мережковский Д.С. 14 декабря. Гиппиус З.Н. Дмитрий Мережковский. М., 1990. С. 542.
6. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Вопр. философии. 1989. № 3. С. 122.